

О Г Л А В Л Е Н И Е

П Р О Л О Г

11

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

13

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

141

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

259

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я

359

Э П И Л О Г

393

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

395

П Р О Л О Г

Позвольте рассказать вам об одном праведнике. Праведник этот, царь Крита Минос, пошел войной на Афины. Хотел покарать город за смерть своего сына Андрогейя. Сей могучий атлет одержал победу на Панафинейских играх, вот только после в пустынных пригородных холмах был растерзан взбесившимся быком. Потеряв сына-триумфатора, всю вину Минос возложил на афинян — не уберегли, дескать, юношу от свирепого зверя — и возжаждал наказать их, искупав в крови.

Но по пути, прежде чем обрушить свой гнев на Афины, Минос решил уничтожить другое царство — Мегару. Нис, мегарский царь, славился своей непобедимостью, но, хоть и легендарный, все равно не годился в подметки могучему Миносу, срезавшему прядь алых волос, от которой и зависело бессмертие царя. Лишившись кроваво-красного завитка, несчастный был повержен моим торжествующим отцом.

Откуда же он узнал, что нужно отстричь этот самый завиток? Царская дочь, красавица Скилла, весело рассказывал мне Минос, влюбилась в него без памяти и без надежды, и однажды, сладким шепотом обещая моему отцу, подставившему чуткое ухо, что с радостью променяет дом и родню

на его любовь, проговорила заодно, в чем заключена погибель ее отца.

Разумеется, такое отсутствие дочерней преданности внушило Миносу справедливое отвращение, и, едва царство пало под ударами его окровавленного топора, отец мой привязал безумно влюбленную девушку к кораблю и благочестиво поволок в водяную могилу, а она громко кричала, оплакивая свою нежную веру в любовь.

Она предала и своего отца, и царство, говорил он мне, еще сияя и упиваясь победой, когда вернулся из поверженных Афин. А зачем, скажите на милость, моему отцу Миносу, царю Крита, вероломная дочь?

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я



Г Л А В А • 1

Я Ариадна, критская царевна, однако история эта увела нас далеко от скалистых берегов моей родины. Отцу нравилось рассказывать мне, как благодаря своей образцовой добродетели он победил Мегару, подчинил Афины и всем показал блестящий пример безупречного правосудия.

По легенде, тонущая Скилла превращена была в морскую птицу. Только жестокой участи отнюдь не избежала, ведь за ней тут же пустился в погоню орел с алым пером, движимый вечной жадой мести, и нет этой погоне конца. Легенда казалась мне вполне правдоподобной, богам ведь доставляет такое наслаждение созерцать долгие муки.

Но я, размышляя о Скилле, представляла отнюдь не птицу, а глупую и самую что ни на есть земную девчонку, задохнувшуюся в пене волн, бурливших за кормой отцовского корабля. Видела, что не только железные цепи, которыми сковал ее Минос, затягивают Скиллу в бушующие воды, но и бремя невыносимой правды: все родное и знакомое принесла она в жертву любви, такой же прозрачной и мимолетной, как радуга, мерцавшая в облаках брызг, когда отец мой горделиво шел на всех парусах под золотистым солнцем.

Знаю, Скиллой и Нисом кровавые труды отца не завершились. За мир он потребовал с Афин страшную плату. Всемогущий Зевс, беспощадный правитель богов, благоволил Миносу, потому что любил силу в смертных, и оказал ему милость, наслав на Афины страшный мор, шквалом болезни, мук, смертей и горя пронесшийся по городу. Вопль матерей, должно быть, стоял повсюду, ведь дети чахли и гибли у них на глазах, а воины полегли на полях сражений, и великий город, узнавший вдруг, что, подобно всем городам, крепок был лишь слабой человеческой плотью, вяз уже в громоздившихся друг на друга телах собственных жителей, ставших жертвами принесенной Миносом чумы. Афиняне уступили его требованиям — ничего другого им не оставалось.

Однако не власть и богатства нужны были Миносу. А дань — семь афинских юношей и семь девушек, которых каждый год доставляли морем на Крит, чтобы хоть ненадолго насытить чудовище, грозившее опозорить и сокрушить мою семью, но вместо этого возвысившее и прославившее нас. От рева этого существа, почуявшего приближение того единственного дня в году, когда его кормили, пол в нашем дворце гудел и сотрясался, хоть оно было упрятано глубоко под землю, в сердце сумрачного лабиринта, до того поражавшего воображение, что вошедший не мог уже выйти обратно на белый свет.

Лабиринта, ключом от которого владела только я.

Лабиринта, заключившего в себе величайшее унижение Миноса и одновременно — величайшую драгоценность.

Моего брата Минотавра.

В детстве я как замороженная без конца бродила по углам и закоулкам кноссского дворца. Кружила по бесчисленным комнатам, в которых ничего не стоило заблудиться, плутала змеистыми проходами, водя ладонью по гладким красным стенам.

Пальцы нащупывали рельефный лабрис, обоюдоострый топор, высеченный на каждом камне. Уже потом я узнала, что для Миноса лабрис был символом могущества Зевса, вызывавшего грома и молнии, то есть свидетельством неодолимого превосходства. А мне, бежавшей по лабиринтам родного дома, этот топор напоминал бабочку. И именно бабочку я представляла себе, выбираясь из полутемного кокона дворцовых покоев на великолепный внутренний двор, просторный, залитый солнцем. На огромном выглаженном до блеска кругу, располагавшемся посередине, я провела счастливейшие минуты юности. Вращаясь в головокружительной пляске, ткала невидимый ковер, легкими прыжками пересекала танцевальную площадку — диво дивное, выточенное из дерева бесподобное творение прославленного мастера Дедала, хоть и не самое известное, конечно.

Я наблюдала, как он сооружал эту площадку — вертелась рядом, нетерпеливая девчонка, дожидаться не могла, когда же он закончит, не понимая, что вижу за работой изобретателя, который во всей Греции славится. А может, и в других, далеких землях, но о мире за стенами нашего дворца я почти ничего не знала. С тех пор больше десятка лет прошло, однако мне всегда вспоминается именно тот Дедал — молодой, полный сил и творческого пыла. Я наблюдала за его работой, а он рассказывал мне, как, путешествуя, обучался своему мастерству, пока наконец не привлек выдающимися умениями внимание моего отца, пообещавшего щедро наградить Дедала, если тот останется. Казалось, он везде побывал — описывал знойные пески пустынь Египта, Иллирию и Нубию, непредставимо далекие, а я ловила каждое слово. Я видела отплывающие от критского берега корабли — под руководством умелого Дедала возводились их мачты, а на мачтах крепились паруса, — но только воображать могла, каково же пересекать моря на таком корабле, когда под ногой скрипит дощатая палуба и волны с шипением разбиваются о борта.

Наш дворец был полон творений Дедала. Изваянные им статуи, казалось, вот-вот оживут — их даже к стенам приковывали длинными цепями, чтобы не вздумали уйти. Изготовленные им изящные ожерелья из тонких золотых цепочек блестели на шее и запястьях Пасифаи. Однажды, заметив мой завистливый взгляд, Дедал и мне преподнес маленькую золотую подвеску — две пчелы на кусочке сот. Она сверкала на солнце, такая яркая, лощеная, что казалось — сейчас растает от жары, истечет медовыми капельками.

— Это тебе, Ариадна.

Он всегда говорил со мной серьезно, и мне это нравилось.

С ним я не чувствовала себя надоедливым ребенком, девчонкой, которая никогда не сможет возглавить флот или завоевать царство, то есть для отца своего Миноса почти бесполезна и потому неинтересна ему. Если Дедал и шутил надо мной, я этого не замечала — всегда считала, что мы общаемся на равных.

Я изумленно приняла подвеску, повертела в пальцах, дивясь ее красоте. И спросила:

— А почему пчелы?

Он развел руками, обратив ладони к небу, пожал плечами и улыбнулся.

— А почему бы и нет? Пчелы всеми богами любимы. Они выкармливали младенца Зевса медом в укромной пещере, пока он не набрал достаточно сил, чтобы свергнуть могучих титанов. Дионис подслащивает пчелиным медом свое вино, оттого оно так соблазнительно. Говорят, даже ужасного Цербера можно приручить, если накормить медовым пирогом! С таким украшением ты всякую волю смягчишь и всякого к себе расположишь.

Я не спросила, чью волю мне, возможно, понадобится смягчить, — знала и так. Все мы на Крите были заложниками сурового Миносова суда. Моего отца и гигантский пчелиный рой не поколебал бы, а все же этот очаровательный подарок

я с тех пор носила всегда. Подвеска горделиво поблескивала у меня на шее и на празднике в честь женитьбы Дедала. Мой отец устроил грандиозный пир — очень был доволен, что Дедал заключил союз с дочерью Крита. Теперь узы, связывавшие мастера с нашим островом, стали еще прочней, и Минос мог похвалиться своим собственным великим изобретателем. Жена Дедала умерла во время родов — они и года вместе не прожили, — но мастер нашел утешение в новорожденном сыне Икаре и умилял меня, гуляя с младенцем на руках и показывая ему, ничего еще не смыслившему, цветы, птиц и разные диковины нашего дворца. Моя младшая сестренка Федра, только выучившись ходить, в восторге ковыляла за ними, и когда мне надоедало уводить ее подальше от всяких опасностей, встречавшихся на каждом шагу, я оставляла Дедала с ними обоими и втихомолку возвращалась на свою просторную площадку для танцев.

В первое время и мать танцевала со мной — она-то меня и научила. Не просто показала порядок шагов, скорее передала мне умение создавать из беспорядочных, полубезумных движений текущие, волнообразные фигуры. Я наблюдала, как мать отдается музыке, необъяснимым способом преобразуя ее в некое изящное неистовство, и делала так же. Она превращала нашу пляску в игру — выкрикивала названия созвездий, а мне нужно было, перемещаясь по площадке, очертить эти небесные фигуры, которые мать выписывала и в рассказах тоже, не только в танце. “Орион!” — крикнет она например, и я перепрыгиваю, как безумная, с места на место, представляя огоньки в ночном небе — изображение злосчастного охотника.

— Девственная богиня Артемида яростно оберегала свою невинность, объяснила Пасифая. — Но благоволила Ориону — смертному, с которым охотилась, а он был в этом деле почти так же искусен, как она сама.

То есть находился в опасном для человека положении. Боги могут восхищаться искусностью смертного — охот-

ника, ткача, музыканта, — но если тот возгордится, заметят сразу, и горе несчастному, чьи умения близки к божественным. Ни от кого бессмертный не потерпит хоть какого-то превосходства над собой.

— Движимый стремлением сравняться с обладавшей невероятным мастерством Артемидой, Орион захотел во что бы то ни стало поразить ее, — продолжила мать.

Она глянула на Федру и Икара, игравших у края площадки. В последнее время они были неразлучны, Федра упивалась старшинством: наконец нашелся кто-то помладше и можно им повелевать. Убедившись, что дети увлечены игрой и нас не слушают, Пасифая принялась рассказывать дальше.

— Может, надеялся, убив достаточно живых тварей, заслужить ее восхищение и заставить тем самым нарушить обет безбрачия. И они вдвоем отправились сюда, на Крит, чтобы устроить великую охоту. День за днем Артемида с Орионом вырезали здешних зверей, и доказательством их мастерства служили горы мертвых тел. Но пропитав землю кровью, они пробудили от мирного сна Гею, прародительницу всего сущего, и та ужаснулась побоищу, которое одержимый Орион учинил вместе со своей обожаемой богиней. Гея испугалась, что он и впрямь уничтожит все живое, как и говорил, в опьяненном исступлении похваляясь перед Артемидой. Поэтому призвала из тайных подземных обиталищ одно свое создание — Гигантского скорпиона — и натравила на хвастуна Ориона. Такого существа свет еще не видывал. Панцирь его блестел, словно вырезанный из гладкого обсидиана. Огромные клешни были размером с человека, а ужасающий изогнутый хвост вздымался до безоблачных небес, затмевая Гелиосов свет и отбрасывая жуткую тень.

Я содрогалась, слушая описание легендарного чудовища, и зажмуривалась от страха, представляя, как оно вырастает передо мной, невообразимо жуткое и свирепое.

— Но Орион не испугался, — продолжила Пасифая. — Или виду не подал. Может, думал, что возлюбленная Артемиды спасет его от этой твари, а может, считал, что и без нее способен победить чудовище, посланное самой Геей. Как бы там ни было, Орион не справился, и Артемиды не вмешалась, не вытащила его из могучих клешней скорпиона.

Тут мать прервалась, и ее молчание изобразило жалкие попытки Ориона сражаться ярче, чем могли бы слова. Затем она снова подхватила рассказ, но прежде я увидела, как Орион испустил дух, как обнажилась наконец его человеческая слабость, когда он сдался, обессилив — уж очень долго, пребывая в смертном теле, пробовал угнаться за богами.

— Артемиды, горевавшая по своему спутнику, собрала его останки, разбросанные по всему Криту, и поместила на небо — пусть Орион светит во мраке, чтобы она глядела на него каждую ночь, отправляясь на охоту с серебряным луком в одиночестве, и превосходство свое сохранившая непрерываемым, и целомудрие.

Таких историй было много. Ночные небеса, казалось, усеяны смертными, повстречавшимися с богами и теперь являвшими земле яркий пример того, на что способны бессмертные.

Тогда мать, помню, отдавалась повествованию, как и танцу, бурно и самозабвенно, не зная еще, что эти невинные развлечения сочтут потом доказательством ее неудержимой склонности к излишествам. В то время никто и не думал говорить, будто она не может зваться женщиной, или обвинять ее в распутстве и каких-то неестественных склонностях, и мать танцевала со мной без оглядки, пока Федра с Икаром играли, увлекаясь все новыми забавами, все новыми мирами, которые сами же и придумывали. Одного лишь судьи нам стоило бояться — хладнокровного Миноса с его бесстрашной и последовательной расчетливостью. И мы, мать и дочь, танцевали вместе, отгоняя страх.